

К 70-летию со дня рождения Н.М.Рубцова

Вадим КОЖИНОВ

НИКОЛАЙ РУБЦОВ

Творчество поэта получило достаточно широкий отклик в критике. С момента выхода первой книги Николая Рубцова (1965) появились десятки рецензий, статей, специальных разделов в критических обзорах, посвященных его поэзии, — не говоря уже об отдельных упоминаниях. Но ныне становится все более ясно, что некоторые характеристики, слишком поспешно данные Николаю Рубцову критикой, неточны или просто ошибочны.

Прежде всего многие критики безоговорочно и прочно причислили Николая Рубцова к *деревенской* поэзии. Конечно, если попросту исходить из того, что большинство зрелых стихотворений поэта так или иначе связано с темой деревни и сельской природы, вопрос ясен. Но на самом деле все обстоит далеко не так уж просто.

Мне не раз приходилось слышать из уст самого Николая Рубцова недовольные и даже резкие возражения тем, кто называл его «деревенским поэтом». Начнем с того, что все молодые годы Николая Рубцова прошли в городах и морских портах. Покинув родную деревню в четырнадцать лет, он возвратился туда — и фактически и духовно — только уже вполне взрослым, почти тридцатилетним человеком.

Поэзией он начал всерьез заниматься, по-видимому, с восемнадцати-девятнадцати лет (вообще же, по его признаниям, он писал стихи с самого детства). Вначале это были, так сказать, стихи «моряцкие», затем главным образом «городские». Многие из этих ранних вещей вошли в его книги, но даны там вперемешку с поздними, зрелыми стихотворениями, что сильно запутывает читателя.

Трудно, а подчас, вероятно, и невозможно установить теперь точные даты написания тех или иных стихотворений поэта, но во всяком случае подавляющее большинство известных нам «моряцких» стихотворений относится к 1957—1959 годам, а «городских» — к 1959—1962 годам. К собственно «деревенской» теме Николай Рубцов по-настоящему обратился лишь в Москве, после поступления в Литературный институт.

Поэт в самом деле на какое-то время «забыл» деревню, из которой он вышел. К началу 60-х годов относятся его иронические строки:

*...Я выстрадал, как заразу,
Любовь к большим городам!..*



В.Н.Корбаков.
Набережная Вологды. 1993

В 1962 году Рубцов пишет очень выразительные стихи «В гостях» — стихи чисто «городские», даже, так сказать, «петербургские».

*Трущобный двор. Фигура на углу.
Мерещится, что это Достоевский.
И желтый свет в окне без занавески
Горит, но не рассеивает мглу.
Гранитным громом грянуло с небес!
В безлюдный двор ворвался ветер резкий,
И видел я, как вздрогнул Достоевский,
Как тяжело ссутулился, исчез...
Не может быть, чтоб это был не он!
Как без него представить эти тени,
И желтый свет, и грязные ступени,
И гром, и стены с четырех сторон!..*

Настоящее «возвращение» к деревенской родине произошло именно в то время, когда Николай Рубцов входил в большую литературу (это совпадение, конечно, не было случайным). В силу этого создалось представление, что поэт так и начался с «сельской» темы. На самом же деле шести (всего лишь!) годам собственно литературной деятельности Николая Рубцова предшествовало не меньшее количество лет активной работы над стихами, которые почти совершенно не были связаны с деревней!

Суть дела можно кратко выразить так: деревня стала необходимой Николаю Рубцову не сама по себе, не как поэтическая тема, но как своего рода «точка отсчета», как своеобразная мера всего, как исток всей жизни родины. Это рельефно выразилось в ряде его стихотворных концовок, словно обнажающих внутренний смысл обращения поэта к сельскому бытию.

Стихи «Острова свои обогреваем» заканчиваются так:

*...Мать России целой — деревушка,
Может быть, вот этот уголок...*

Или стихотворение «Ферапонтово»:

*...И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле...*

Или, наконец, стихи «Давай, земля, немножко отдохнем...»:

*...Вокруг любви моей непобедимой
К моим лугам, где травы я косил,
Вся жизнь моя
Вращается незримо,
Как ты, Земля,
Вокруг своей оси...*

Да, родная деревня и любовь к ней были для зрелого творчества Рубцова именно своего рода «осью». Но он никогда не терял из виду весь круг жизни своего народа и всю Землю, — хотя из самой отдаленной ее точки снова и снова возвращался к «оси».

У Николая Рубцова есть совершенно открытое, прямое (и потому не очень-то удачное в поэтическом смысле) объяснение того, почему его стихи обращены к деревне:

*В деревне виднее природа и люди.
Конечно, за всех говорить не берусь!
Виднее над полем при звездном салюте,
На чем поднималась великая Русь.*

Но едва ли сколько-нибудь оправданно представление о Николае Рубцове как «изобразителя» или «певце» деревни и природы. Суть его творчества глубже и сложнее.

Анатолий Ланщиков в статье «Поэт и природа (памяти Николая Рубцова)» совершенно верно заметил: «Пейзаж как таковой почти отсутствует в его стихах... У Николая Рубцова... то единство с природой, когда природа дает самочувствие вечной жизни, определяя нравственную меру вещей и явлений»².

На первый взгляд слова эти звучат странно: ведь в большинстве стихотворений поэта речь идет о деревне и о природе — как же это у него почти нет пейзажа?! Во многих критических статьях Николай Рубцов предстает как раз в качестве замечательного мастера деревенского пейзажа, особенно северного. И все же критик прав. Природа у поэта почти не выступает как объект изображения. Его стихи воплощают органическое, хотя и противоречивое единство человека и природы, которые как бы непрерывно переходят друг в друга (между тем пейзаж в собственном смысле подразумевает известную отчужденность, отделенность от природы).

Речь идет вовсе не о так называемом антропоморфизме, то есть об одухотворении, очеловечивании явлений природы, которое сложилось в древнейшем, даже первобытном фольклоре, а позднее нередко выступало как образная основа поэзии (например, у Кольцова и Некрасова). Для творчества Николая Рубцова этот путь не очень характерен. Если уж на то пошло, поэт более склонен к утверждению природной основы человека, нежели к очеловечиванию природы. Анатолий Ланчиков говорит в уже упомянутой статье: «...Если мы считаем природу источником и причиной нашей физической жизни, то есть ли у нас основания искать источники и причину нашей духовной жизни непременно за пределами той же самой природы?»³.

Это именно то новое, современное осознание проблемы «человек и природа», которое глубоко и ярко выразилось в поэзии Николая Рубцова.

Как это на первый взгляд ни странно, в очеловечивании природы выражается заведомая отделенность от нее, чуждость ей, — та чуждость, которая свойственна ранним стадиям человеческого развития, как раз и породившая антропоморфические образы природы. Когда людям приходилось повседневно бороться не на жизнь, а на смерть с природными явлениями и стихиями, они стремились хотя бы в сознании преодолеть их чуждость и враждебность, наделив их своими, человеческими чертами. Это очеловечивание природных сил в той или иной форме выступает в развитии поэзии вплоть до XX века.

Но в нашем столетии совершился настоящий переворот в практическом и, соответственно, духовном отношении человека к природе. Небывалая власть над ее силами привела, в частности, к тому, что на первом плане стоит теперь не задача борьбы с этими силами, а задача защиты природы от разрушительного действия грандиозно выросших человеческих сил.

Современная или, точнее, подлинно современная поэзия стремится скорее к открытию природного в человеке, чем человеческого в природе. Это в высшей степени присуще и поэзии Николая Рубцова, — хотя и не лишено моментов очеловечивания природы.

В истории русской и мировой поэзии есть бесчисленное количество стихотворений, в которых предстает глубоко очеловеченный образ осени. В стихах Рубцова соотношение как бы перевернуто:

*...Я с поникшей головою,
Как выраженья осени живое⁴,
Проникнутый тоской ее и дружбой
По косогорам родины брожу...*

Или возьмем стихотворение «Ферапонтово»:

*В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,*

*Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте.
И однажды возникло из грезы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как березы,
Диво дивное в русской глуши!..*

Традиционно как раз обратное сопоставление: «творчество» природы сравнивается с человеческим. Здесь же высшее проявление человеческих возможностей «возникло» подобно тому, как возникали трава, вода, березы.

Но это только одна сторона дела.

В поэзии Николая Рубцова природа нераздельна с жизнью и историей народа. В каком-то смысле это же можно сказать о творчестве многих поэтов. Но у Рубцова — и в этом один из главных источников силы и своеобразия его поэзии — природа и история народа нередко словно сливаются, даже отождествляются, и их единство предстает для поэта как своего рода идеал.

В широко известном стихотворении поэт говорит:

*Я буду скакать по холмам задремавшей
отчизны...*

и в той же строфе словно уточняет:

*Я буду скакать по следам
миновавших времен...*

Холмы отчизны — это как бы и есть следы миновавших времен, следы истории народа. В стихотворении «О Московском Кремле» читаем:

*В твоей судьбе — о русская земля! —
В твоей глуши с лесами и холмами,
Где смутной грустью веет старина,
Где было все: смиренность и гордыня —
Утверждена московская твердыня!*

«Старина», история существует непосредственно в лесах и холмах, из которых словно сама собой возникла и утвердилась твердыня Кремля.

Точно так же в стихах «Привет, Россия...»

*...Весь простор, небесный и земной,
Дышал в оконце счастьем и покоем,
И достопадной веял стариной,
И ликовал под ливнями и зноем!*

И в стихах «Выпал снег, и все забылось» оказывается, что снегом —

*Красотою древнерусской
Обновился городок.*

Все это может быть понято, как некое отрицание сказанного выше: поэт все-таки очеловечивает природу, внося в нее исторический смысл. Дело в том, однако, что в

поэтическом мире Николая Рубцова именно сама природа предстает как необходимый исток и основа истории, как естественно порождающая бытие народа почва. И именно этим, по убеждению поэта, живет человек, именно это надо постоянно помнить и сознавать. Только в единстве со своим народом и его тысячелетней историей человек обретает действительное единство с природой — таков сквозной смысл поэзии Николая Рубцова. Лишенный народного сознания и исторической памяти, оказавшийся в одиночестве человек неизбежно ощущает вдруг чуждость и враждебность природы. Это с проникновенной силой воплощено в стихах Николая Рубцова «Осенние этюды»:

*...От всех чудес всемирного потопа
Досталось нам безбрежное болото,
На сотни верст усеянное клюквой,
Овсянное сказками и былью
Прошедших здесь крестьянских поколений...*

Таким образом, даже болото нерасторжимо связано с народным бытием. Но вот человек остался один на один с этим болотом и его оставили историческое сознание и память:

*Зовешь, зовешь... Никто не отзовется...
И вдруг уснет могучее сознание,
И вдруг уснут мучительные страсти,
Исчезнет даже память о себе...*

Только сначала это состояние воспринимается как желанная свобода:

*«Как хорошо! — я думал. — Как прекрасно!»
И вздрогнул вдруг, как будто пробудился,
Услышав странный посторонний звук.
Змея! Да, да! Болотная гадюка
За мной все это время наблюдала
И все ждала, шипя и извиваясь...
Мираж пропал. Я весь похолодел.
И прочь пошел, дрожа от омерзенья.
Но в этот миг, как туча, над болотом
Взлетели с криком яростные птицы.
Они так низко начали кружиться
Над головой моею одинокой,
Что стало мне опять не по себе...*

*...И понял я, что это не случайно,
Что весь на свете ужас и отравы
Тебя тотчас открыто окружают,
Когда увидят вдруг, что ты один...*

Та же, в общем и целом, мысль в замечательном стихотворении «Вечернее происшествие». Нельзя не сказать в связи с ним, что Николай Рубцов поистине обожал лошадей. Редкостная встреча с лошастью, тянувшей телегу по московской улице, вызвала в нем однажды настоящий восторг. Но вот совсем другое ощущение:

*Мне лошадь встретилась в кустах,
И вздрогнул я. А было поздно...*

В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном...
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца,
Переглянулись по два раза.
И я спешил — признаюсь вам —
С одной мыслью к домочадцам:
Что лучше разным существам
В местах тревожных —
не встречаться!

Вопреки концовке, смысл этого стихотворения, без сомнения, многозначен. Жуткое ощущение чуждой, нечеловеческой «души» лошади (ощущение, которое всецело преодолевается в народном бытии, превращающем лошадь, — как и вообще все природное — в родное человеку существо) не так уж «отрицательно». Соприкосновение с нераскрываемой тайной иного существа влечет и захватывает. Здесь по своему проявилась способность поэта избежать традиционного очеловечивания природы — способность, как уже говорилось, сугубо современная. Он выразил самостоятельную, самодовлеющую суть животного, в котором обычно видят лишь некий придаток к человеку. Только теперь мы поднимаемся до осознания суверенности всех живых существ...

Но признание суверенности природы и бесконечное уважение к ней вовсе не приводят Рубцова к какой-либо идеализации при-

роды; сама по себе она никак не может дать человеку спасения. Поэт, выросший в деревне, далек от идиллических представлений о природе. В его стихах не раз возникает образ человека, оторвавшегося от людей или жестоко отвергнутого ими, оставшегося один на один с природой и потому обреченного на верную гибель. Вот, например, стихотворение «Неизвестный»:

Он шел против снега во мраке.
Бездомный, голодный, больной.
Он после стучался в бараки
В какой-то деревне лесной.
Его не пустили. Тупая
Какая-то бабка в упор
Сказала, к нему подступая:
— Бродяга, наверное, вор...
Он шел. Но угрюмо и грозно
Белели снега впереди!
Он вышел на берег морозной,
Безжизненной, страшной реки!
Он вздрогнул, очнулся и снова
Забылся, качнулся вперед...
Он умер без крика, без слова.
Он знал, что в дороге умрет...

Угрюмой, грозной, безжизненной, страшной предстает природа, когда человек оказывается совсем наедине с ней...

Уже хотя бы эти сложные, противоречивые, неоднозначные отношения поэта с природой подтверждают, что он не может быть понят как традиционный «певец деревни». Напомню еще раз его собственные слова о том, что «в деревне виднее природа и люди» и «виднее... на чем поднималась великая Русь» (то есть виднее история родины). На-

чав свой путь как «городской» поэт, Николай Рубцов обратился к деревне, ибо был убежден, что в ее бытии сегодня яснее выступают природа, человек и история в их противоречивом единстве.

Возьмем одно из лучших стихотворений Рубцова, относящихся к «городскому» (или, еще точнее, «петербургскому») периоду его творчества (1959—1962), — «Утро утраты»:

Человек не рыдал, не метался
В это смутное утро утраты,
Лишь ограду встряхнуть попытался,
Ухватившись за копыя ограды.

Вот пошел он. Вот в черном затоне
Отразился рубашкою белой.
Вот трамвай, тормозя, затрезвонил;
Крик водителя: — Жить надоело?

Было шумно, а он и не слышал.
Может, слушал, но слышал едва ли,
Как железо гремело на крышах,
Как железки машин грохотали...

Вот пришел он. Вот взял он гитару.
Вот по струнам ударил устало.
Вот запел про царицу Тамару
И про башню в теснине Дарьяла.

Вот и все... А ограда стояла.
Тяжки копыя чугунной ограды.
Было утро дождя и металла,
Было смутное утро утраты.

Это, без сомнения, сильные и мастерские стихи. В них, правда, есть свои недостатки: чересчур прямолинейный звуковой



Евгений Соколов. Первый снег. Феропонтово. 1992

повтор «утро утраты», разрывающая стих реплика «жить надоело?», неточное «железо на крышах» (имеется в виду «железо крыш»), небрежное «железки машин» и т.п. Но в целом стихи ярко запечатлели предельно тяжкое состояние человеческой души, не могущее найти выхода и разрешения. Символическая чугунная ограда с ее тяжкими копиями, будто тушью сделанная — кстати, типично «петербургская» — зарисовка героя («вот в черном затоне отразился рубашкою белой»), точное «может, слушал, но слышал едва ли», нарастающий мотив «железа» (переключка с «оградой»), «усталое» пение, как безнадежная попытка разрешения, освобождения, и, наконец, смелый обобщающий образ «утро дождя и металла» — все это создает истинно поэтическую реальность.

Но в это же время в стихотворении есть узость и сдавленность, это скорее «эюд», чем полнокровное творение. И дело вовсе не в том, что стихи «мрачны», «пессимистичны». Среди более поздних, вполне зрелых стихотворений поэта можно найти не менее мрачные по настроению вещи, — скажем, «Зимняя ночь» («Кто-то стонет на темном кладбище...»), «Прощальное» («Печальная Вологда дремлет...»), «Бессонница» («Окно, светящееся чуть...») и др.

Однако на этих зрелых стихах всегда лежит хотя бы отсвет животворной реальности, существующей *вне* воплощенного в них безысходного душевного состояния, которое поэтому преодолевает свою безысходность. Вот, скажем, достаточно тяжкое по своей тональности стихотворение «Прощальное», овеянное предчувствием смерти:

*Печальная Вологда дремлет
На темной печальной земле,
И люди окраины древней
Тревожно проходят во мгле.*

*Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя...*

Коренное отличие этих стихов от «Утра утраты» очевидно. В том раннем стихотворении герой оказывается один на один с совершенно чуждым и даже враждебным миром. Он со своей безнадежностью всецело замкнут в себе. Между тем в «Прощальном» есть другие люди, которые «тревожно проходят во мгле», как бы разделяя тревогу лирического героя, есть «древняя окраина», история которой продолжается, есть не обозначенная определенно «родимая» (это может быть мать, возлюбленная, соотечественница или даже родина вообще — важен лирический мотив, символ, а не его конкретное проявление), есть «родная заря», которая будет играть в окне и гореть...

Говоря попросту, есть природа и история, есть люди, вобравшие их в себя. Это, разумеется, ни в коей мере не приводит к поверхностному и дешевому оптимизму и нисколько не исключает личных и всеобщих трагедий. Между прочим, сам Николай Рубцов и в последние свои годы не раз с вызовом говорил, что он писал и будет писать «пессимистичные» стихи (на самом деле он так протестовал, конечно же, против бездумного оптимизма).

Стремясь «оправдать» своего подопечного, Н.Н.Сидоренко писал в характеристике Николая Рубцова за 4-й курс (5 июня 1967 года): «Муза его несколько грустновата (это, конечно, сказано слишком «мягко». — В.К.). Что поделаешь: он рано осиротел, рос в сельском детдоме, без семьи» (Архив ЛИ). К этому следовало бы добавить, что и поэт, и его народ пережили самую страшную в истории войну и безмерно трудные послевоенные годы, что Николай Рубцов с исключительной остротой чувствовал нарастающую коллизию социальнотехнического прогресса и природы — коллизию, развертывающуюся *внутри* самого человека (и, конечно, внутри народа в его целостности), который есть не только общественное, но и природное явление и т.д. Бездумный оптимизм не способен породить, по крайней мере в наш век, ничего истинно поэтического.

Но вернемся к стихам «Утро утраты». Воплотившаяся в них трагедия совершенно *одинокого* человека, разумеется, вполне реальна и глубоко лична. Тот факт, что стихи написаны не от первого лица, обусловлен, очевидно, своего рода творческим целомудрием (поэт не хотел представить самого себя столь трагической фигурой)⁵.

Но на таком состоянии безысходности невозможно основать цельный и полноценный поэтический мир; оно может быть только отдельным проявлением, некоторой стадией творческого развития поэта. Ибо такое состояние слишком *бедно* и неподвижно, *статично*. Безысходность как бы смотрит сама в себя, она тавтологична: все плохо, потому что все плохо. Безысходность, в конечном счете, искусственна, нарочито беспочвенна: ведь если человек утверждает, что все безысходно, он волейневолею с чем-то *сравнивает* эту безысходность. Но та жизненная реальность, в сравнении с которой воплощенное в стихах состояние оценивается как безысходное, попросту опущена, вытравлена.

Трагедия одиночества, если поэт рискует ее развивать, развертывать, неизбежно перерождается в конце концов в трагедию *эгоизма*⁶, которая, в сущности, и не является трагедией. Вся *вина* перекладывается при этом на другие «я» и на мир в целом, а истинная трагедия подразумевает *трагическую вину* самого ее героя (в том числе и лирического героя).

Уже приводились предельно трагические предсмертные стихи Николая Рубцова,

кончающиеся словами «мне дороги нет». Но это стихотворение начинается так:

*Мы сваливать
не вправе
Вину свою на жизнь...*

«Утро утраты» — пожалуй, лучшее из ранних стихотворений Николая Рубцова. И все же оно раннее.

В 1962 году, как раз на рубеже творческой зрелости, Николай Рубцов составил свое «избранное» из тридцати восьми написанных в 1957—1962 годах стихотворений, назвав эту рукописную книгу «Волны и скалы»⁷ (по объяснению самого поэта, «волны» означают волны жизни, а «скалы» — препятствия на жизненном пути человека). Большинство вошедших в книгу стихотворений было впоследствии опубликовано. Но Николай Рубцов написал также предисловие к своей «книжке», которое представляет существенный интерес.

Он упоминает здесь стихи «Утро утраты», замечая: «Душой остаюсь близок к ним». Как бы объясняясь, он пишет далее: «В жизни и в поэзии не переносу спокойно любую фальшь, если ее почувствую. Каждого искреннего поэта понимаю и принимаю в любом виде, даже в самом сумбурном».

Стихи «Утро утраты», безусловно, глубоко искренни. Но вот что говорится в предисловии вслед за этим: «Четкость общественной позиции поэта считаю не обязательным, но важным и благотворным качеством. Этим качеством не обладает в полной мере, помоему, ни один из современных молодых поэтов. Это есть характерный знак времени. Пока что чувствую этот знак и на себе».

Сборник «Волны и скалы» — начало. И, как любое начало, стихи сборника не нуждаются в серьезной оценке⁸.

Итак, поэт видит недостаточность или хотя бы незрелость своих стихов в отсутствии четкой «общественной позиции». Именно поэтому, надо думать, он не считает их достойными «серьезной оценки». Не находит он полноценной «общественной позиции» и в стихах других молодых поэтов тех лет. Это может показаться странным, ибо как раз в те годы — на рубеже 1950—1960-х годов — публиковались легионы стихов тогдашней поэтической молодежи, в которых открыто была заявлена та или иная «общественная позиция» (правда, ныне эти стихи, как говорится, канули в лету). Очевидно, Николай Рубцов чувствовал в этих стихах ту или иную «фальшь» и не считал их подлинно общественными.

То, что Рубцов называет «общественной позицией» в поэзии, не дается задаром. Эту «позицию» необходимо *нажить*, *выстрадать* — только тогда она может стать органическим качеством поэзии.

Николай Рубцов смог обрести подлинную «общественную позицию» и притом так, что ее *выстраданность* в той или иной мере ощущается в любом стихотворении поэта.

Эту «позицию» лично ему помогло обрести «возвращение» (разумеется, не просто «приезд», а то «возвращение памяти», о котором он сказал в стихах) к деревне, где «виднее» истинная сущность человека, вошедшая в себя природу и историю, человека как частицы народа.

Как своего рода веха на пути поэта к зрелости предстает стихотворение «Русский огонек», написанное, по-видимому, в 1962—1963 годах:

...Какая глушь! Я был один живой,
Один живой в бескрайнем мертвом поле!
Вдруг тихий свет — пригрезившийся что ли? —
Мелькнул в пустыне, как сторожевой...

И вот изба — «последняя надежда»:

Как много желтых снимков на Руси,
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне и поразил
Сиротский смысл семейных фотографий!

Преодоление трагедии собственного сиротства в открытии всенародной трагедии — таков, выражаясь, быть может, несколько высокопарно, но вполне точно, смысл этих строк. Дело тут, конечно, не в «мысли» как таковой; «мысль» эта доступна всякому. Николай Рубцов создал поэзию, в которой народный смысл или, точнее, народный *голос*, вошедший в себя голоса природы и истории, звучит совершенно естественно и неопровержимо. Это не просто идея, но *сама жизнь*, получившая новое бытие в слове и ритме поэта.

Николай Рубцов, повторяю, выстрадал свое право ввести в стихи голос народа, и стихи обрели таким образом то, что поэт назвал «общественной позицией».

И именно для этого ему нужно было «возвращение» в деревню, а вовсе не для воспевания и изображения деревни и природы как таковых.

Впрочем, тут мне могут решительно возразить. Неужели, скажет воображаемый оппонент, в наше время — время небывалого, скачкообразного роста городов, где живет теперь большинство людей цивилизованных стран, время научно-технической *революции* (то есть тотального переворота в формах труда и самом образе жизни) — можно «искать истину» в деревне?

Чтобы ответить на этот вопрос, я хочу обратиться к одному, так сказать, уроку истории. Дело в том, что современную революцию в технике (и самом образе жизни) нередко вполне обоснованно называют «второй». Аналогичный (хотя, конечно, существенно отличающийся) переворот совершился на рубеже XVIII—XIX веков, когда люди *впервые* начали создавать машинные фабрики и заводы, паровозы и пароходы, аэростаты («воздушные шары») и электрическое освещение и т.п. Эта эпоха, начавшаяся ранее и интенсивнее, чем где-

либо, в Англии, носит имя *промышленной революции*.

Как же отразилась эта эпоха в поэзии? Ради краткости и вместе с тем объективности я не буду сам характеризовать английскую поэзию того времени, а попросту процитирую несколько соответствующих положений из современной литературной энциклопедии.

«Начавшийся промышленный переворот все более привлекал внимание поэтов к деревне... В поэмах Дж.Крабба (1754—1834) возникли детальные картины сельской повседневности, переданные с большим реализмом... Возросший интерес к природе побудил... приступить к собиранию произведений устной поэзии, бытовавшей в народе... Сборники народных песен и баллад явились событием для литературы, снова обратившейся к родникам народного поэтического творчества, восходившим к средневековью... Записи древних баллад и поэзия Макферсона и Чаттертона укрепили интерес к картинам дикой природы... Венцом поэзии XVIII в. было творчество шотландца Р.Бернса (1770—1850), С.Колриджа (1772—1834), Р.Саути (1774—1843)... — утверждение примата чувства, воспевание людей, не испорченных промышленной цивилизацией... Наиболее популярным поэтом-романтиком начала XIX в. был В.Скотт (1771—1832)... Созданный этим писателем исторический роман возник под воздействием сдвигов, происшедших в Шотландии и Англии благодаря последствиям промышленного переворота... Ощущение нового всемирно-исторического перелома вызвало потребность осмысления опыта многовекового развития народов»⁹.

Итак, великая промышленная революция «повернула» английскую литературу лицом к природе и деревне, к древнему народному творчеству и истории. Необходимо, правда, оговорить, что в цитируемой энциклопедической статье дано весьма поверхно-

стное истолкование этого факта. Здесь сказано попросту о «внимании» и «интересе» к природе и деревне, об «утверждении примата чувств» и «людей, не испорченных промышленной цивилизацией» и т.п. Более удачно последнее замечание — о том, что промышленная революция «вызвала потребность осмысления» многовековой истории народа. Но ясно, что обращение к природе диктовалось не простым «интересом» к ней, а стремлением глубже понять соотношение природы и общества; точно так же изображение чувственного сознания человека было не самоцелью, а диктовалось потребностью оценить роли чувства и мысли в бытии и т.д.

Далее, нельзя не сказать о том, что энциклопедическая статья, призванная охарактеризовать наиболее *значительные* явления литературы, правомерно оставила за пределами внимания те произведения тогдашней литературы, которые как раз *прямо и непосредственно* отразили промышленную революцию. Такие произведения создали тогда, например, Роберт Бейдж, Уильям Годвин, Хэлливел Сатклифф и другие писатели. Но — что очень характерно — эти произведения, в которых, в частности, изображена фабричная жизнь, почти полностью забыты (мне указал на них знаток английской литературы этой эпохи А.Н.Николюкин).

Ведь задача искусства не в том, чтобы запечатлеть внешние черты времени, а в том, чтобы проникнуть в его глубокую суть. Это смогли совершить на рубеже XVIII—XIX веков Бернс и Вордсворт, Колридж и Саути, Скотт и Шелли, которые обратились к природе и истории, но обратились не самоцельно, а для глубокого проникновения в смысл *современности*. Нередко надо отойти от наиболее бросающихся в глаза явлений времени, чтобы понять его сущность.

Это отнюдь не значит, конечно, что поэзия вообще не может или не должна отражать



Николай Молчанов. Летний день. Цветут луга. 1993

сугубо «современные» факты. Но, как я убежден, в тот момент, когда Николай Рубцов вступал в литературу, обращение к природе и деревне было своего рода *необходимостью*. Опять-таки подчеркну, что это обращение у настоящих художников не было самоцельным и не превращалось в «воспевание».

Исходя из всего этого, я и опровергаю широко распространенное определение поэзии Николая Рубцова как «деревенской». Деревня явилась для поэта необходимым «материалом» творчества, воплощавшего коренные проблемы современности. Николай Рубцов — не «деревенщик», а один из немногих наиболее значительных русских поэтов нашего времени.

Столь же необоснованно, на мой взгляд, тесное связывание поэзии Николая Рубцова с традициями устного народного творчества и с той линией в русской поэзии, которая им принципиально следовала (Кольцов, многие вещи Некрасова, Есенина)¹⁰. Выше уже говорилось о том, что для поэта нехарактерен антропоморфизм, лежащее в основе древнего народного творчества очеловечивание природы. Но дело, конечно, не только в этом.

В наследии Рубцова можно найти стихи, которые более или менее тесно связаны с устным народным творчеством. Но это либо ранние стихи, в которых поэт еще не обрел свой собственный стиль, либо немногие произведения, *сознательно* опирающиеся на фольклор, то есть выражения определенного жанра, занимающего свое особое место в творчестве поэта. Таковы, скажем, стихи «В горнице моей светло...», «Сапоги мои скрип да скрип...», «В лесу под соснами...» и т.п.

Стиль же основных произведений Николая Рубцова опирается, с одной стороны, на сугубо современную разговорную речь деревни и, в не меньшей степени, речь городскую, а с другой — на прочные стилевые традиции классической русской поэзии от Пушкина и Лермонтова до Заболоцкого и Твардовского.

Итак, близость к устному народному творчеству, присущая, например, таким прекрасным современным поэтам, как Николай Тряпкин и Федор Сухов, вовсе не характерна для творчества Рубцова, и критики напрасно говорят об этой близости (а подчас даже усматривают в ней чуть ли не главный источник силы и своеобразия поэта). Конечно, у Николая Рубцова есть отдельные стихотворения (о чем уже говорилось) и тем более отдельные образы, связанные с фольклором. Но такого рода связи можно обнаружить у очень многих поэтов, ибо то или иное специфическое художественное задание настоятельно требует обращения к фольклорным мотивам и формам.

Многое говорилось в критике и о прямой связи творчества Рубцова с поэзией Есени-

на. На мой взгляд, эта связь в гораздо большей степени присуща *ранним*, даже юношеским стихам Николая Рубцова. Между прочим, сам поэт решительно возражал тем, кто называли его непосредственным наследником Есенина; помню возникший на этой почве спор, который даже окончился ссорой с собеседниками.

Это, разумеется, отнюдь не означает, что Николай Рубцов недостаточно хорошо относился к поэзии Есенина; напротив, он ценил ее предельно высоко и любил всем своим существом. Достаточно вспомнить его стихотворение «Сергей Есенин»:

*...Да, недолго глядел он на Русь
Голубыми глазами поэта.
Но была ли кабацкая грусть?
Грусть, конечно, была... Да не эта!
Версты всей потрясенной земли,
Все земные святыни и узы
Словно б нервной системой вошли
В своенравность есенинской музыки!
Это муза не прошлого дня,
С ней люблю, негодую и плачу.
Много значит она для меня,
Если сам я хоть что-нибудь значу.*

И все же в рубцовой любви к Есенину не было той *исключительности*, которую хотели бы видеть в ней некоторые критики и поэты. В зрелой поэзии Рубцова мало общего с есенинским стилем; в ней, в частности, совершенно отсутствует та эстетика и поэтика *цвета*, без которой немислимо творчество Есенина...

Характерно следующее стихотворение Николая Рубцова¹¹:

*Я люблю судьбу свою,
Я бегу от помрачений!
Суну морду в полынью
И напысь,
Как зверь вечерний...
...От заснеженного льда
Я колени поднимаю,
Вижу поле, провода,
Все на свете понимаю!
Вон Есенин —
на ветру!
Блок стоит чуть-чуть в тумане.
Словно лишний на пиру,
Скромно Хлебников шаманит...*

Ясно, что поэт, осознающий себя прямым есенинским наследником, не поставил бы Есенина в один ряд с Хлебниковым и даже с Блоком...

Известны, далее, стихи Рубцова, в которых он говорит о своем стремлении «проверить» по книгам Тютчева и Фета «искренность слова» и «продолжить книгу Рубцова» книги этих поэтов. И можно с большими основаниями утверждать, что *любимейшим* поэтом Николая Рубцова был совсем уж не «деревенский» Тютчев. Он буквально не расставался с тютчевским то-

миком, изданным в малой серии «Библиотеки поэта», и, ложась спать, клал его под подушку...

Как уже говорилось, Николай часто исполнял стихи на полусочиненные-полууслышанные мелодии. Но среди своих стихотворений он почти всегда исполнял на такой же безыскусный мотив и тютчевское:

*Брат, столько лет сопутствовавший мне,
И ты ушел, куда мы все идем,
И я теперь на голой вышине
Стою один — и пусто все кругом.*

*И долго ли стоять тут одному?
День, год-другой — и пусто будет там,
Где я теперь, смотря в ночную тьму
И — что со мной, не созная сам...*

*Бесследно все — и так легко не быть!
При мне иль без меня — что нужды в том?
Все будет то ж — и выюга так же выть,
И тот же мрак, и та же степь кругом.*

*Дни сочтены, утрат не перечесть,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.*

Внимательный читатель увидит, как близки эти стихи по своему стилю, по самому своему тону поэзии Николая Рубцова. Те же, кому довелось слышать эти стихи в исполнении Николая, чувствовали, что они — самое глубинное, самое интимное его достояние.

Нет сомнений, что гениальная поэзия Тютчева оказала сильнейшее воздействие на Николая Рубцова. Подчас в его стихах слышны прямые (и даже излишне прямые) отзвуки Тютчева. Скажем, такие:

*В краю лесов, полей, озер
Мы про свои забыли годы.
Горел прощальный наш костер,
Как мимолетный сон природы.*

*И ночь, растрченная вся
На драгоценные забавы,
Редает, выше вознося
Небесный купол, полный славы...*

*...Душа свои не помнит годы,
Так по-младенчески чиста,
Как говорящие уста
Нас окружающей природы...*

Менее явные отголоски тютчевской поэзии есть во многих стихах Рубцова.

Проникновенно любил Николай Рубцов и поэзию Лермонтова, Некрасова, Фета и Блока¹², — не говоря уже о Пушкине. Вспоминается забавный случай, происшедший в общезнаменитом Литературном институте. Однажды вечером Николай долго спорил с несколькими молодыми стихотворцами, и наконец, обвинив их в полном непонимании природы по-

эзии, ушел. А поутру обнаружилось, что со стен общежития исчезли большие портреты Пушкина, Лермонтова и Некрасова. Их нашли в комнате Рубцова, который всю ночь вел «беседу» с великими учителями...

Все это, разумеется, отнюдь не значит, что Николай Рубцов буквально «воскрешал» стиль Тютчева и других творцов классической поэзии. Проблему традиций вообще нередко понимают слишком прямолинейно и упрощенно. Дело идет о широте и глубине той поэтической почвы, на которой выросло зрелое творчество Николая Рубцова, а не о некоем возврате в прошлое.

Уже говорилось, что ранние стихи поэта очень тесно связаны с есенинским наследием. Можно утверждать даже, что поначалу Николай Рубцов был в безраздельной власти Есенина. Вот, например, его стихи 1957 года:

Т.С.

Хочешь, стих сочиню сейчас?
 Не жаль, что уйдешь в обиде...
 Много видел бесстыжих глаз,
 А вот таких не видел!
 Душа у тебя — я знаю теперь —
 Пуста и темна, как сени...
 «Много в жизни смешных потерь», —
 Верно сказал Есенин.

Можно было бы и не цитировать Есенина, ибо стихи эти и так полны приметамы его поэзии — вплоть до характерного ритма («есенинского дольника»), которым Рубцов, кстати сказать, почти не пользовался в зрелости. Да, какое-то время поэзия Есенина была для Рубцова своего рода синонимом поэзии вообще; Есенин как бы открыл ему самый мир поэтического творчества. И конечно, эта изначальная связь в той или иной мере чувствуется и в позднейших стихах поэта. Убежден, что настоящий поэт вообще не может вырасти из какой-либо одной традиции; он должен так или иначе освоить предшествующую поэтическую культуру своего народа в ее целостности (это, конечно, не значит, что он вынужден освоить вообще все ее выражения). Рубцов сумел это сделать и именно потому стал истинным поэтом, а не неким, по безосновательному определению одного критика, «новым прочтением Есенина»¹³ (к сожалению, многие критики утверждали и утверждают нечто подобное).

Нельзя не сказать и о другой неоправданной тенденции, сказавшейся во многих критических статьях, относивших творчество Николая Рубцова к «тихой лирике». Это понятие вполне уместно, скажем, по отношению к поэзии Анатолия Жигулина. Но к основным стихам Николая Рубцова оно явно не применимо.

Правда, у него есть отдельные вещи, отмеченные печатью спокойного и грустного раздумья и вылившиеся в «тихий» напев или разговор: «В горнице моей светло...», «Ночь на родине» («Высокий дуб. Глубокая во-

да...»), «В минуты музыки печальной...», «А, между прочим, осень на дворе...» и т.п.

Но во множестве его лучших стихотворений звучит интонация столь активной устремленности, заклинания, призыва, что ни о какой «тихости» не может быть и речи:

...Останьтесь, останьтесь,
 небесные синие своды!
 Останься, как сказка,
 веселье воскресных ночей!..

...Но люблю тебя в дни непогоды
 И желаю тебе навсегда,
 Чтоб гудели твои пароходы,
 Чтоб свистели твои поезда!..

В этой деревне огни не погашены.
 Ты мне тоску не пророчь!..

Слава тебе, поднебесный
 Радостный краткий покой!..

...Россия, Русь! Храни себя, храни!..

Бессмертное величие Кремля
 Невыразимо смертными словами!..

Люблю ветер. Больше всего на свете.
 Как воет ветер! Как стонет ветер!..

...Но я смогу,
 но я смогу
 По доброй воле
 Пробрить дорогу сквозь пургу
 В зверином поле!..

Вполне закономерно, что сам поэт читал эти и другие свои стихи почти на пределе голоса, притом усиливая и одновременно повышая мелодический тон на протяжении каждой отдельной строки. Его чтение можно графически изобразить так:

отчизны!
 задремавшей
 по холмам
 скакать
 Я буду
 племен!..
 вольных
 удивительных
 сын
 Неведомый

При этом поэт сопровождал чтение как бы дирижерскими движениями рук, поднимая их все выше по мере повышения голоса.

Эту принципиальную «громкость» своих стихов (не всех, конечно) поэт достаточно ясно выразил в пунктуации. Трудно назвать поэта, в текстах которого было бы так много восклицательных знаков, как у Рубцова; во многих стихах они употребляются в каждой строфе и даже чаще¹⁴. Какая уж тут «тихая лирика», о которой так бездумно говорится в целом ряде критических статей о поэзии Рубцова...

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Николай Ливнев, учившийся на одном курсе с Рубцовым в Литературном институте, вспоминает, что поэт приехал с бауллом, который был битком набит рукописями стихов. Об этом же рассказывает другой однокурсник поэта — Михаил Шаповалов.
- ² ЛАНЩИКОВ А. Многообразие искусства. — М.: Московский рабочий, 1974. — С. 143, 145.
- ³ Там же — С. 145.
- ⁴ Здесь и далее в стихах выделено мной. — В.К.
- ⁵ Несколько подобных стихотворений, переведенных «в третье лицо», есть, например, в наследии Николая Заболоцкого: «Это было давно. Исхудавший от голода, злой...», «Приблизился апрель к середине» и др.
- ⁶ Вот, например, раннее стихотворение Николая Рубцова, в котором он «скатился» в прямой эгоизм.
 Снуют. Считают рублики.
 Спешат в свои дома.
 И нету дела публике,
 Что я схожу с ума!
 Не знаю, чем он кончится —
 Запутавшийся путь,
 Но так порою хочется
 Ножом...
 кого-нибудь!
- ⁷ Рукопись хранится в архиве Б.И. Тайгина.
- ⁸ Архив Б.И. Тайгина.
- ⁹ Краткая литературная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1962. — Т. 1. — Стлб. 205—206.
- ¹⁰ Об этом писали многие критики; винюю, что и я сам в свое время непродуманно писал о мнимом родстве поэзии Рубцова с фольклором.
- ¹¹ Отрывки из этого стихотворения публикуются здесь впервые; полностью оно печатается в сборнике «Подорожники» («Молодая гвардия»).
- ¹² Он очень любил исполнять на свои мелодии лермонтовский «Сон» и блоковское «Девушка пела в церковном хоре...».
- ¹³ День поэзии. — М.: Советский писатель, 1969. — С. 188.
- ¹⁴ Прошу прощения за «цифры» (я не собираюсь поверять ими гармонию), но полагаю, они говорят сами за себя. В стихотворении «Поэзия» 4 восклицательных знака на 5 составляющих его строф; «Видения на холме», соответственно, 6 знаков на 8 строф; «Купавы» — 4 на 5; «Журавли» — 4 на 4; «Привет, Россия...» — 6 на 6; «О Московском Кремле» — 9 на 7; «Весна на берегу Бии» — также 9 на 7; «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» — 14 на 10; «Философские стихи» — 17 на 13; «По дороге из дома» — даже 12 знаков на 4 строфы и т.д.